

Литератор — представитель нации. В воспоминаниях Н. И. Пирогова описана характерная ситуация. В начале 1830-х гг. в Дерпт, где он учился в профессорском институте, приехали два известнейших французских хирурга. «Оба они присутствовали при моих вскрытиях в лазарете, — пишет Пирогов, — <...> и очень были изумлены, когда я, желая отличиться и похвастаться перед иностранцами, принялся препарировать узлы сочувственного нерва, солнечное сплетение и т.п. Французы не ожидали, что русский в состоянии будет легко и скоро обнаружить перед ними для исследования почти все главные узлы груди и живота. Они выразили мне свое удовольствие тем, что начали приглашать в Париж» [417, с. 328]. Избавляя нас от догадок относительно мотивов, руководивших им в присутствии французов, Пирогов сам поясняет, что желал «похвастаться перед иностранцами». Причем ясно, что «похвастаться» хотелось сразу двумя вещами: с одной стороны, личным профессионализмом, а с другой, — достижениями российской национальной хирургии. Ясно, что две эти вещи весьма трудно разграничить, поскольку личный престиж всегда в большей или меньшей мере связан с престижем национальным.

Однако нас интересует в первую очередь литература, а потому несколько сузим масштаб проблемы и зададимся таким вопросом: как влияет на формирование текста «ответной рецепции» взаимодействие личного (авторского) и общенационального престижа?

Известность, приобретенная не только в своем отечестве, но и за границей, всегда льстила авторскому самолюбию и составляла предмет писательской гордости. Гордость эта вполне справедлива и заслуживает всеобщего сочувствия, если, правда, не переходит разумных границ скромности. Если же самооценка завышена, то она вызывает, по крайней мере, улыбку. Белинский в статье «Речь о критике» цитировал обращение А. П. Сумарокова к правительству с просьбой отправить его за казенный счет за границу, дабы он описал Европу. За два с половиной года такого труда Сумароков просил 12 000 рублей, причем убеждал прави-

тельство: «Если б таким пером, каково мое, описана была вся Европа; не дорого бы стало России, ежели бы и 300 000 на это безвозвратно употребила». Особенно любопытно, что Сумароков, рекламируя себя, ссылаясь как раз на свою европейскую репутацию. «Каково мое перо <...>, — писал он, — о том и по худым переводам все ученейшие в Европе знают и ту мне похвалу соплетают, которая превосходит желание авторов и тех народов, в которых науки созрели и утвердились. И что я России сделал честь моими сочинениями, в том я всех ученых людей в Европе свидетелями имею» [56, т. 2, с. 349]. Белинский цитировал эту самохарактеристику как образец «смешного и добродушно наглого самохвальства». Но обратим внимание на другое: Сумароков представляет правительству свою зарубежную популярность как значительную заслугу перед отечеством, заслугу национальную. Но не будем на основании этого выдернутого из биографического контекста эпизода делать далеко идущие выводы об авторе, действительно имевшем и зарубежную известность¹, и заслуги перед отечеством. Вслед за Белинским оценим эту ситуацию как забавную в биографии Сумарокова, однако заметим, что она в то же время довольно типична для литературной жизни вообще.

Обратимся к профессионалу в области саморекламы, каковым, несомненно, являлся Ф. В. Булгарин. Он одним из первых среди российских литераторов поставил литературное и публицистическое ремесло на коммерческую ногу и четко сознавал, что успех этой «торгово-творческой» деятельности во многом зависит от авторского престижа. Булгарин старательно навязывал читателям представление о своей персоне как о значительном литераторе и зачастую использовал при этом отсылки на зарубежную популярность. Возьмется он, положим, вспоминать о своем общении с Карамзиным, да и вставит к слову, что сам он, Булгарин, еще в 1819 г. бывал в Петербурге на литературных вечерах, где присутствовали французские путешественники (!), и даже писал для этих вечеров по-французски статьи, которые поправлял в грамматическом отношении небезызвестный Сен-Мор [84, с. 668]. Такие пассажи, разумеется, можно списать на чувство авторского честолюбия — для литераторов явление нередкое и, во всяком случае, простительное.

¹ Оды А. П. Сумарокова были переведены на французский язык еще в 1740 г. [62, с. 725].

Но, кажется, Фаддей Венедиктович преследовал и более корыстную цель, нежели простое самолюбование.

В 1826 г., опасаясь, чтобы последствия недавней катастрофы на Сенатской площади не коснулись и его, Булгарин самым активным образом начал демонстрировать верноподданнические устремления. Он преуспел настолько, что тут же заслужил протекцию Бенкендорфа, который принялся ходатайствовать о зачислении Булгарина на службу в Министерство народного просвещения. При этом Бенкендорф направлял министру А. С. Шишкову рекомендательную записку, составленную, без сомнений, на основании «саморекомендации» Булгарина. Среди множества заслуг своего протеже Бенкендорф отмечал такую: «Для распространения <...> сведений о России в духе, свойственном образу правления, Булгарин предпринял в 1822 г. издание журнала “Северный архив” <...>. Сие издание, первое в своем роде, заслужило внимание европейских ученых (!), которые беспрестанно (!) и все (!) пользуются и переводят отсюда статьи, до России касающиеся» [278, с. 245]. Восклицательные знаки в цитате поставлены М. Лемке, который обнаружил этот документ и указывал на несообразность данной в нем характеристики. Несообразность эта, конечно, была бы очевидной (будь документ обнаружен раньше) и для многих современников Булгарина, но — только не для Бенкендорфа. Бенкендорф уверовал в «мировое значение» Булгарина (или, во всяком случае, удовлетворился рвением Булгарина) и позволил булгаринской «Северной пчеле» держать монополию на публицистическую трактовку отечественных и зарубежных событий.

Булгарин почуял, где «слабое место», и начал «давить» на него уже систематически. В 1830 г. он жаловался Бенкендорфу на своих литературных противников и писал: «Сочинение мое “Иван Выжигин”, удостоившееся в один год трех изданий, благосклонно принятое всеми иностранными журналами, доставившее мне честь быть членом первых европейских ученых обществ и благосклонные отзывы знаменитых людей Европы, было разругано без всяких доказательств в русских журналах. За меня никто не вступился!» [278, с. 270] В 1839 г. Булгарин снова обращался в III Отделение и просил защитить его российскую и мировую славу. «На меня печатают пасквили за границей, — угадывает Булгарин реакцию Бенкендорфа, — наполняют эти пасквили самыми якобинскими идеями и оскорблениями противу правительства, и этот пасквиль, то есть книга Кенига о русской литературе, допу-

щена в продажу в России, а других отставляли от службы за напечатание невинных статей о России, тогда как Мельгунов, *суфлер Кенига*, невредим!» [278, с. 285] В 1845 г. Булгарин решил просить для себя очередных льгот уже у нового шефа жандармов А. Ф. Орлова и использовал тот же неоднократно испытанный прием. «Почти все мои сочинения, — сообщал он, — а в том числе и «Россия», переведены на иностранные языки, на французский, немецкий, английский, итальянский, и даже испанский. Ученого издания «Северный архив» <...> издал я 56 томов, и все русские и иностранные ученые <...> им пользовались» [278, с. 297].

Булгарин, конечно, безбожно преувеличивал свою европейскую известность, но следует признать, что известности этой он действительно добивался и в парижской прессе его имя действительно по временам мелькало. Так, скажем, журнал «Revue Encyclopédique» в сентябре 1822 г. рассказывал об открытии в России нового журнала «Северный архив» в следующих словах: «Г. Булгарин, член многих ученых и литературных обществ, воодушевленный желанием содействовать распространению полезных знаний, предпринял в начале сего года публикацию периодического издания, о коем мы сообщаем и цель коего приобщить людей, жадных до просвещения и науки, к истории древней и новой, российской и зарубежной, к статистике и политической экономии всех стран» [611, с. 547]. Эта оценка, разумеется, принадлежит не французским публицистам — автор заметки о «Северном архиве» С. Д. Полторацкий. Однако Булгарин вполне мог репрезентовать подобную публикацию как свидетельство своего признания во Франции, а на основании этого свидетельства уже испрашивать очередные милости от российского правительства.

Мало кто из российских литераторов мог, подобно Булгарину, столь умело использовать в диалоге с отечественным официозом аргумент своей зарубежной известности. Однако даже если государственный аппарат не отмечал наградами иностранную славу писателя, то зарубежный престиж все же способствовал популярности автора на родине. В повести И. И. Панаева «Белая горячка» некий столичный авторитет Рябинин поучал молодого художника: «Поезжай в Италию <...>. Открой в Риме большую и богатую мастерскую <...>. Потом, если вздумаешь, возвращайся в Россию <...>. Но, не заставив кричать о себе в чужой земле, ты ничего не выиграешь в своей» [398, с. 33]. Российскому писателю

(уже хотя бы из-за языкового барьера) было труднее обратить на себя внимание европейцев, нежели российскому художнику. И все же пусть редкие, но благожелательные оценки в европейской прессе и литературе, конечно, укрепляли авторитет автора в России.

Однако взглянем и на другую сторону вопроса. Всегда ли, завоевывая личный престиж в Европе, российские литераторы руководствовались только соображениями собственной пользы? В 1830 г. А. И. Тургенев пообещал П. А. Вяземскому опубликовать в Париже его «Введение» к биографии Фонвизина. «Получил я милое письмо от Тургенева из Парижа <...>, — отметил Вяземский в записной книжке 15 июня, — которое пощекотало мое самолюбие обещанием увидеть мою статью, переведенную в Париже St. Priest» [111, с. 102]. В тот же день, правда, Вяземский прочел в «La Revue Britannique» довольно смехотворный отзыв о себе, который вряд ли щекотал самолюбие: «Вяземский одновременно имел смелость создать и счастье распространить новые слова и формы языка» [111, с. 103]. Но это — к слову, а важно для нас, что разумел Вяземский под авторским самолюбием. Понятно, что он не мог иметь намерения бравировать перед правительством, подобно Булгарину, своей парижской публикацией. Понятно и то, что литературный авторитет Вяземского в России был достаточно высок и без заграничных публикаций, хотя, разумеется, популярность для автора никогда не бывает лишней. Но, думается, Вяземским руководила и другая мысль.

В том же 1830 г. он написал статью «О духе партий; о литературной аристократии». «По ком судит и знает нас Европа, — задавался он вопросом, — по ком признает нас народом, скоро догнавшим народы, временем нас опередившие? По тем же аристократам, к которым должна принадлежать и литературная аристократия и которые, начиная от князя Кантемира до наших современников, были с честью и блеском представителями русского дворянства в кабинетах Монтескье, Вальтера, Шатобриана и в гостиных лучшего общества <...>» [112, т. 2, с. 162]. После этого ясно, что парижская публикация означала для Вяземского начало его собственного представительства в Европе от лица русской литературы или, вернее, литературы российской аристократии.

И с годами Вяземский не стал относиться к представительской миссии (хоть своей, хоть к чьей бы то ни было еще) менее серьезно. В 1858 г., находясь в Лозанне, он записывал свои воспоминания о Карамзине и оценивал его как раз в качестве предста-

вителя русской литературы среди европейских знаменитостей. «Он является перед ними, — размышлял Вяземский, — *выборным человеком возникающего русского просвещения и в этом звании оценивается* ими, возбуждает все их сочувствие, всю их любовь и в лице его сочувствие и любовь к России. Заслуга неоцененная, которою можем мы гордиться и которую не следовало бы нам забывать (курсив мой. — В. О.)» [112, т. 9, с. 179]. Так что, по всей видимости, самолюбие Вяземского «щекотала» не столько личная популярность сама по себе, сколько возможность и право представлять во Франции русскую литературу и Россию. Наверное, подобное чувство испытывал и Жуковский, когда в 1839 г. посещал Лондонскую библиотеку, о которой оставил в дневнике лаконичную, но красноречивую запись: «Библиотека. Русские книги, между прочим, и мои» [198, с. 491].

Вообще же, большинство российских литераторов относились к зарубежным отзывам о своем творчестве и фактах своей биографии с обостренным вниманием, сознавая при этом, что иностранные суждения о них самих неизбежно распространяются на остальных русских. Гоголь, скажем, узнав о переводе «Мертвых душ» на немецкий язык опасался, что сатирическая гипербола будет воспринята в Германии «за портрет России». В связи с этим он писал Н. М. Языкову: «Если тебе попадется в руки этот перевод, напиши, каков он и что такое выходит по-немецки. Я думаю, просто ни то ни се. Если случится также читать какую-нибудь рецензию в немецких журналах или просто отзыв обо мне, напиши мне тоже. Я уже читал кое-что на французском о повестях в «Revue des Deux Mondes» и в «Des Dîbats». Это еще ничего. Оно канет в Лету вместе с объявлениями газетными о пилюлях и новоизобретенной помаде красить волоса <...>. Но в Германии <...> литературные толки долговечней, потому я бы хотел следовать за всем, что обо мне там говорят» [134, т. 8, с. 231].

И снова о Герцене: мы помним, что в революционном Париже он воспринимал себя в качестве представителя прогрессивной части русского общества. Да и вся его позднейшая судьба, все творчество были, по сути, представительством в Европе русского образованного и знающего свою родину человека. Неудивительно, что Герцен решил продолжить публикацию «Былого и дум» лишь после того, как убедился, что первая подача его воспоминаний встретила благожелательные отзывы европейской печати. В предисловии к третьей части «Былого и дум» он призна-

вался: «Прием, сделанный им (мемуарам. — В. О.), увлек меня, и мне стало труднее не печатать, нежели печатать». «Я знаю, — продолжал Герцен, — что большая часть успеха их принадлежит не мне, а предмету. Западные люди были рады еще заглянуть за кулисы русской жизни. Но, может, в сочувствии к моему рассказу доля принадлежит *простой правде* его. Эта награда была бы мне очень дорога, ее только я и желал» [127, т. 4, с. 402]. Герцен понимал, конечно, что сочувствие европейского читателя относилось не только к «простой правде», но и к автору, который эту правду осмелился написать. Ведь не случайно, что В. Гюго, прочитавший французский перевод «Былого и дум» и знавший о европейской деятельности Герцена, назвал его «русским, реабилитирующим Россию» [273, с. 343]. Подобный отзыв был для Герцена весомой наградой, поскольку свидетельствовал о том, что ему удалось справиться со взятой на себя миссией представлять в Европе Россию, противопоставленную официозу². Для Герцена подобные европейские отзывы были главным показателем результативности его работы. Потому-то Л. Р. Ланской, изучив газетные и журнальные вырезки в личном архиве Герцена, обнаружил, что значительную их часть «составляют публикации произведений Герцена во французской, английской, немецкой и итальянской прессе, рецензии на его сочинения, а также статьи о нем самом и его деятельности» [270, с. 793].

Пожалуй, из всех российских литераторов, известных Европе, один И. А. Крылов оставался почти равнодушен к иностранным отзывам о себе [140]. П. А. Плетнев вспоминал, что незадолго перед последней болезнью Крылову прислали из Парижа его жизнеописание, составленное для биографического словаря, с тем чтобы он внес в текст поправки. Крылов отвечал на это: «Пускай пишут

² Для радикально настроенных русских демонстрация солидарности с европейским революционным движением уже сама по себе имела значение представления антидеспотической России в Европе. Примечательный факт: после завершения Крымской войны П. Л. Лавров передал через Герцена Виктору Гюго свои стихотворения, бичующие российские порядки и посвященные В. Гюго («Современные отголоски»). Поэт-изгнанник, конечно, не сумел прочесть русскоязычные стихотворения, однако попросил Герцена опубликовать в «Колоколе» слова благодарности «неизвестному русскому поэту» за его «исполненные великодушия стихи» [238, вып. 4, кн. 10, с. 152]. Ясно, что содержание стихотворений Лаврова никак не расширили представлений Гюго о России, но вот образ русского поэта-борца после этого эпизода, надо полагать, в сознании Гюго упрочился.

обо мне, что хотят»; и внес замечания только по настоянию присутствовавших при этом людей [421, с. 232]. Такая пассивность может объясняться и возрастом баснописца, и его всегдашней нелюбовью говорить о себе. Однако некоторые иностранные отзывы о себе Крылов все же знал и вынужден был на них, хоть и не слишком активно, реагировать. «Посылаю вам портрет И. А. Крылова и его биографию, которую он одобряет, — писал сенатор и литератор Ю. А. Нелединский-Мелецкий своей дочери в конце 1823 г. — Он сказывал, что в каком-то французском журнале его обвиняют, будто в басне “Разбойник и сочинитель” он метил на Вольтера, чего, говорит, и в голове у него не было» [211, с. 318]. Вообще же, Крылов не был настроен спорить с иностранной печатью, хоть отзывы ее к сведению принимал. И. П. Быстров, служивший под началом Крылова в Императорской публичной библиотеке, вспоминал, как Иван Андреевич объяснял свое небрежение к библиотечной службе: «А я, мой милый, ленив ужасно... начал было нечто похожее на ваш труд, и бросил... скучно показалось... Да что, мой милый, говорить... И французы знают, что я лентяй» [89, с. 239]. Крылов намекал, на французское издание своих басен, в предисловии к которому Лемонте сравнивал баснописца с деревом, «ветви которого надобно сильно потрясать, если желаешь стряхнуть с них плоды» [89, с. 239].

Впрочем, Крылов должен был сознавать, что если и не он сам, то соотечественники связывают его зарубежную известность с европейским престижем русской литературы. В этом отношении чрезвычайно любопытно суждение его родного брата Льва Андреевича, простого провинциального служащего, командира Винницкой инвалидной команды, не слишком искусственного в литературных вопросах и рассуждавшего на уровне (как сейчас принято выражаться) самого широкого читателя. Когда в 1823 г. Лев Андреевич прочел антологию русской поэзии Сен-Мора, куда вошли и крыловские басни, то высказывал брату свое впечатление от предисловия к антологии в таких словах: «Оно привело меня в восторг <...>. Он (автор) серьезно признается, что ты самых отличных талантов, и всякая бы просвещенная нация за честь себе поставила бы иметь тебя своим соотечественником. Это, я думаю, еще никогда никто в России не слышал» [210, с. 335]. Бесхитростно-восторженная реакция брата не могла не тронуть Ивана Андреевича. Он не мог не почувствовать, что точно так же к французскому отзыву о нем отнесется великое множество рос-

сийских читателей самого разного круга, поскольку басни его являлись предметом общенациональной известности.

В этой мысли его должен был убедить и пушкинский отзыв «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» (1825). Предисловие Лемонте было опубликовано в переводе на русский в «Сыне Отечества», отзыв Пушкина — в «Московском телеграфе». То есть обе публикации должны были иметь довольно широкий резонанс. Пушкин, между прочим, отмечал, что составитель издания граф Григорий Орлов избрал «истинно народного поэта, дабы познакомиться Европу с литературой Севера» [442, т. 11, с. 34]. После этого Крылов уж без всяких сомнений должен был восприниматься отечественным читателем как представитель русской литературы в европейском мире.

С правильностью подобного выбора, конечно, можно было и не соглашаться. Так, например, П. А. Вяземский в письме к Пушкину по поводу его отзыва на предисловие Лемонте утверждал, что «в уме Крылова есть что-то лакейское» и что не стоит этой чертой «хвастаться перед иностранцами». «Назову Державина, Потемкина представителями русского народа, — настаивал Вяземский, — это дело другое; в них и золото, и грязь наши <...>, но *представительство Крылова* и в самом литературном отношении есть ошибка <...>» [442, т. 13, с. 238]. Однако это рассуждение оставалось всего-навсего частным письмом, в то время, как перевод крыловских басен, предисловие к ним Лемонте и отзыв Пушкина закрепляли за Крыловым роль представителя русской литературы. Причем заметим, что эта роль утверждалась за Крыловым безо всякого участия с его стороны — он был избран для ее исполнения читателями и коллегами-литераторами. Сама идея издания его басен во Франции принадлежала не ему, а графу и графине Орловым, державшим в Париже литературный салон. В 1823 г. им удалось привлечь к переводу басен более пятидесяти наиболее известных французских литераторов [118, с. 27].

Автор, облеченный подобным доверием публики, неизбежно вынужден воспринимать завоевание популярности за рубежом для себя самого как завоевание авторитета для своей национальной литературы, для отечества. Что и говорить, в иных случаях трудно соразмерить требования личной скромности с требованиями национальной гордости. Между тем, соразмерить можно. Вот любопытный эпизод. Знаменитый французский генерал Жомини обращался к Жуковскому со следующей просьбой: «Один из моих па-

рижских друзей ультра-библиофил <...> страстно желает иметь несколько строчек вашего почерка и почерка Карамзина. <...> У вас, конечно, есть несколько записок от знаменитого историка <...>. Что до вас касается, то ответа на это письмо будет достаточно, чтобы *характер вашего почерка сделался бессмертным во Франции*. «Если имеются у вас записочки от Крылова и Пушкина, — прибавлял генерал, — то крепко обяжете, — пожертвовав мне по одной» [405, с. 256]. Жуковский не отказался от увековечения своего почерка, но ответ генералу облек в такую форму добродушной шутливости, которая исключала мысль, будто Жуковский увлечен мотивами личного честолюбия. «Вы силою хотите доставить мне немного бессмертия <...>, — писал он Жомини. — Не домогаясь славы войти в святилище храма, куда вам угодно меня ввести, хочу, по крайней мере, усвоить за собой право стоять в дверях его или хотя в будке привратника; потому спешу соединить мое имя с вашим и объявить здесь для сведения дальнейшему потомству, что имел честь быть известным генералу Жомини и что даже он был ко мне несколько благосклонен» [405, с. 257].

Следует заметить, что публика, признав автора в качестве своего национального представителя, постоянно напоминает ему о возложенной на него ответственности. Так было, например, с Пушкиным. В письме от начала декабря 1825 г. Е. А. Баратынский взывал к нему: «Возведи русскую поэзию на ту ступень между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвел Россию между державами. Соверши один, что он совершил один; а наше дело — признательность и удивление» [442, т. 13, с. 253]. В 1830 г. подобный призыв обращал к Пушкину С. П. Шевырев:

*Ты русских дум на все лады орган!
Помазанный Державиным-предтечей,
Наш депутат на европейском вече,
Ты — колокол во славу россиян!*

После этого Шевырев призывал Пушкина усовершенствовать русский язык, чтобы он

*Дал звук густой, и сильный, и широкий,
Чтоб славою отчизны прогудел,
Как колокол, из меди лит рифейской,
Чтоб перешел за свой родной предел
И принят был на вече европейском*

[434, т. 2, с. 191–193].

Пушкин сознавал, что русская литература должна быть выведена на европейский уровень известности. В связи с этим в статье о предисловии Лемонте он настаивал на необходимости популяризировать биографические сведения об отечественных литераторах. «<...> Мы в биографиях славных писателей наших, — замечал он, — довольствуемся означением года их рождения и подробностями послужного списка, да сами же потом и жалуемся на неведение иностранцев о всем, что до нас касается» [442, т. 11, с. 34]. Пушкин готов был подбадривать своих литературных соратников для продвижения их к европейскому читателю. Так, весной 1825 г., убеждая А. А. Бестужева взяться за создание романа, он предрекал перспективу подобного начинания: «Вообрази: у нас ты будешь первый во всем значении этого слова; в Европе также получишь свою цену — во-первых, как истинный талант, во-вторых, по новизне предметов, красок etc...» [442, т. 13, с. 156] Обращаясь к знаменитым именам русских литераторов, Пушкин примерял к ним роль возможных представителей русской литературы в Европе. Перечитав «всего Державина», летом 1825 г. он делился с Дельвигом: «Ей богу, его гений думал по-татарски — а русской грамоты не знал за недосугом. Державин, со временем переведенный, изумит Европу, а мы из гордости национальной не скажем всего, что мы знаем об нем (не говоря уже о его министерстве)» [442, т. 13, с. 179].

Понятно, что Пушкин живо интересовался отзывами европейской литературы о себе самом. В его библиотеке сохранился ряд европейских изданий, которые упоминали о нем [20, с. 277]. Еще в 1822 г. Пушкин выписал и сохранил навсегда сообщение «Revue Encyclopédique» (от февраля 1821 г.) о выходе «Руслана и Людмилы». «Она полна первостепенных красот, — говорилось там о поэме, — язык ее, то энергический, то грациозный, но всегда изящный и ясный, заставляет возлагать самые большие надежды на молодого автора» [442, т. 17, с. 458]. Вскоре после этого в том же журнале сведения о Пушкине стал помещать С. Д. Полторацкий. Перевод отрывка из «Руслана и Людмилы» в 1823 г. включил в свою антологию русской литературы Сен-Мор. В 1826 г. Ж. М. Шопен перевел на французский язык «Бахчисарайский фонтан» [255, с. 116]. Это, разумеется, еще не давало большой популярности во Франции, но, учитывая, что Пушкин мог рассчитывать на содействие друзей, вхожих в парижские литературные круги, он уже тогда имел значительные шансы снискать европейскую известность.

Позже иностранные переводчики сами обращались к нему с просьбой указать произведения, которые он желал бы увидеть переведенными на иностранный язык, сообщить для зарубежных изданий сведения о своей жизни. Так, в 1836 г. к Пушкину обратился литератор Тардиф де Мелло, одиннадцать лет проживший в России. «Я имею возможность издать весьма солидную книгу о литературе вашей страны <...>, — сообщал он. — Ваша слава должна распространиться на Западе, ибо русского языка, нужно признаться, до сих пор еще не слышали в наших краях. Вы должны сделаться известны, Ваше имя должно стать рядом с Байроном и Ламартином; я берусь позаботиться об этом в Париже; но чтобы достигнуть этой цели, мне нужны точные сообщения о старых и современных произведениях, прославивших вашу родину, биографии ваших современных писателей» [442, т. 16, с. 398]. Казалось бы, Пушкин, который еще недавно призывал популяризировать сведения о жизни российских писателей, должен был обрадоваться предложению Тардифа де Мелло, который, кстати, обращался со своим предложением к Пушкину дважды. Но... Пушкин лишь вежливо поблагодарил француза за сделанный им перевод «Кавказского пленника». Причем благодарность выразил в таких нарочитых комплиментах, которые обычно бывают уместны, когда человек желает скрасить впечатление от своего отказа. «Вы заставили меня найти красоту в моих стихах, милостивый государь, — писал Пушкин. — Вы облекли их в ту благородную одежду, в которой поэзия становится поистине богиней <...>» [442, т. 16, с. 404]. Сведения о русских писателях Пушкин для Тардифа де Мелло собирать не стал. Почему?

Можно предположить, что Пушкин не очень верил, что издание, задуманное мало известным во Франции автором [569, с. 237], действительно осуществится. Отчасти такое опасение оказалось оправданным, поскольку книга Тардифа «Интеллектуальная история Российской империи» вышла в свет в Париже лишь в 1854 г. (Автор, кстати, сдержал обещание и включил в книгу и произведения Пушкина, и его биографию). Но Пушкиным могли руководить и другие соображения. М. П. Алексеев очень верно указывал, что любопытство Пушкина к иностранным отзывам «определяла надежда на справедливую и заслуженную оценку творчества крупнейших русских писателей, не только его самого <...>». «Однако, — замечал Алексеев, — Пушкину еще и потому необходимо было знать отзывы европейской печати, что иные из

них затрагивали его личные интересы, вторгались в слишком интимные стороны его жизни или же грозили осложнениями отношений к нему русской власти» [20, с. 276].

Действительно, Пушкин уже давно, еще со времени своего южного изгнания, столкнулся с тем, что европейская печать представляла его как ярого оппозиционера. А это, с одной стороны, грозило осложнениями для его жизни и творчества в России, а с другой, — далеко не всегда верно отражало истинную позицию Пушкина. Так, скажем, французский консул Фонтанье в 1829 г. приписал Пушкину сатиры, которые он якобы написал во время пребывания в действующей армии на Кавказе. А в 1834 г. Пушкин прочел во «Франкфуртском журнале» статью о польском вопросе, где упоминалось его имя и «буйные стихи молодости» [442, т. 12, с. 325]. Хотя, как помним, именно в контексте польского вопроса Пушкин менее всего желал выглядеть противником российского правительства. В 1836 г. француз А. Жобар, из соображений личной мести С. С. Уварову, перевел на французский язык сатиру «На выздоровление Лукулла» и даже решился опубликовать его в Бельгии и во Франции, что угрожало до крайности обострить конфликт между Пушкиным и Уваровым³.

Это была обратная сторона европейской известности. Российский литератор зачастую мог получить несправедливый, даже оскорбительный отзыв в иностранной прессе. При этом он знал, что этот отзыв будет известен в России, но почти не имел возможности оправдать себя в европейской же печати. Так, в январе 1846 г. «Revue des Deux Mondes» вдруг заявил, что А. С. Хомяков находится на денежном содержании российского правительства. Подобная информация, ясное дело, в глазах всего мира превращала Хомякова в казенного литератора. Плетнев сокрушался по этому поводу в письме к Гроту: «Каково будет читать это Хомякову, богатейшему дворянину, щекотливому в делах чести и гордому в независимости, патриоту чистому и самому набожному в молодом поколении! <...> Эти сплетни хуже бабьих. Как

³ Министр народного просвещения С. С. Уваров, конечно, дорожил своей иностранной репутацией. В 1812–1813 гг. он сам писал брошюры для европейских читателей (где «идейно обосновывал необходимость борьбы с Бонапартом» [549, с. 25]), а стало быть, привык держать в своем внимании европейское мнение, некогда льстившее его авторскому самолюбию, да и во всяком случае небезразличное для чиновника значительного ранга.

досадно, что никто из русских, живущих в Париже, не купит страницы в том же журнале, чтобы в следующем же № отщелкать автора глупой этой сплетни» [409, т. 2, с. 660].

Вполне возможно, что Пушкин не решился связываться с предприятием Тардифа де Мелло именно потому, что опасался натолкнуться на очередную авантюру, которая не столько служила бы интересам русской литературы за рубежом, сколько отравляла бы существование самого Пушкина. Видимо, поэтому Пушкин охотно перевел для французского литератора Лева-Веймара 11 русских народных песен (в том же 1836 г.), но уклонился от предоставления Тардифу де Мелло сведений о своей биографии и о биографиях своих современниках-литераторах. Так что не будем на основании этого эпизода предполагать, что Пушкин отказался от мысли о необходимости пропагандировать в Европе русскую литературу и русских авторов. Вернее будет сказать, он понимал, что эта пропаганда требует специальной тактики, обдуманного поведения и осторожности.

Но вернемся к мысли, что признание автора за рубежом порою является целью не только самого автора; оно становится предметом заботы и гордости его соотечественников. Завоевание этим литератором иностранного престижа превращается в дело общественного, национального интереса. В 1799 г. В. А. Жуковский и Семен Родзянко перевели на французский язык оду «Бог» и преподнесли перевод Державину со следующими словами: «Творения ваши, может быть, столько же делают чести России, сколь победы Румянцевых. Читая с восхищением “Фелицу”, “Памятник герою”, “Водопад” и проч., сколь часто обращаемся мы в мыслях к бессмертному творцу их и говорим: “Он россиянин, он наш соотечественник”» [152, с. 769]. Ясно, что переводчики решились вывести на европейскую сцену, по их мнению, наиболее выдающегося российского автора.

Видимо, теми же соображениями руководствовался и юный В. К. Кюхельбекер, когда задумывал издать на немецком языке книгу «О древней российской словесности». Во всяком случае А. А. Дельвиг воспринял это начинание как новый шаг в прославлении России. Анонсируя предполагаемое издание, он писал в «Российский музеум» (1815): «Приятно видеть, как наша литература мало-помалу знакомится с иностранцами. Карамзин переведен на трех языках, Кантемира читают с большею приятностию на французском, нежели в старой его одежде, а Державина <...>

успели уже перепортили. Г. Борг <...> намерен перевести все знаменитые стихотворения русских поэтов <...>. Кто не подумает с удовольствием, что, может быть, за веком, прославленным нашим громким оружием, последует золотой век российской словесности?..» [163, с. 214–215]

Даже Чаадаев, который, казалось бы, не был особенно настроен убеждать европейцев в мировых заслугах русской культуры, перевел на французский язык и опубликовал за границей одну из бесед митрополита Филарета, причем проповедь эта произвела на европейских читателей «сильное впечатление» [283, с. 6]. А в середине 1840-х гг. Чаадаев «хлопотал у французского графа Сиркура о том, чтобы тот напечатал в Париже статью Хомякова славянофильского содержания о России, которую он, Чаадаев, сам же нарочно перевел на французский язык, но тут же в письме прибавлял: “Вы знаете, что я не разделяю мнений автора, но полагаю, что полезно делать русскую литературу достоянием широких слоев европейского общества”» [496, с. 290].

Стремление иностранных переводчиков популяризировать в Европе русскую литературу вызывало в России уважение и признательность. В 1862 г. в члены Общества любителей российской словесности впервые был избран иностранец. В протоколах Общества по этому поводу значилось: «В почетные члены принят известный французский писатель, член Французской академии, Проспер Мери́ме — знаток и страстный любитель русского языка и литературы, провозгласивший нашего Пушкина величайшим и первым из современных европейских поэтов» [73, с. 131]. В 1863 г. за особые заслуги в пропаганде русской литературы в Германии в члены Общества был принят немецкий поэт-переводчик Ф. Боденштедт [433, с. 409].

Понятно, что российская публика учитывала и языковой барьер, и ментальность заграничных авторов, а потому не предъявляла к их сочинениям о России слишком высоких требований. Иностранному литератору заслуживал благодарности уже тем, что печатал отзывы о России более-менее квалифицированные и благожелательные. Вот, скажем, характерная статья из «Вестника Европы» М. Каченовского «Мнение Левекова о русской словесности» (1807). «Приятно знать мнение умного и беспристрастного чужестранца о российской словесности, — писал корреспондент журнала. — Левек имеет право на общую признательность. Хотя его “История” не удовлетворяет строгого критика; хотя Левек не всегда умел выбирать и составлять ис-

торические припасы; хотя довольно часто впадает в погрешности, однако ж не видно, чтоб он хотел клеветать, злословить и умысленно сплетать нелепые сказки подобно Леклерку, Шантро и прочим бесстыдным землякам его» [316, с. 114]. Но перенесемся почти через полвека — и встречаем журнальную публикацию совершенно такого же плана. Иной автор, иной журнал, иной повод — но риторика все та же. В 1851 г. П. А. Вяземский подготовил для «Москвитянина» перевод хвалебной французской статьи о «Путешествии князя А. Д. Салтыкова по Персии и Индии», опубликованной во Франции. «Иноземная журналистика, — объяснял Вяземский в предисловии, — а в особенности французская, так вообще невежественна, нелепа и недоброжелательна, когда дело коснется России, что исключения из общего правила достойны возбудить внимательность нашу. Благодаря бога, мы можем не сердиться на вранье и клевету. <...> Но мы должны быть признательны за каждое сказанное о нас доброе и разумное слово» [112, т. 2, с. 419].

Вообще российские журналы регулярно информировали публику об интересе европейцев к русской литературе, хотя эти сообщения порою были похожи не столько на сводки о победах, сколько на хронику курьезных ошибок. В 1853 г. «Современник» выступил с критикой на статью из «Revue des Deux Mondes» «Четыре славянские литературы». Журналист «Современника» удивлялся, «с какой самоуверенностью иностранные ученые говорят о предметах, совершенно им не известных», и перечислял «факты», описанные корреспондентом французского журнала: «<...> Отдав полную справедливость гению Державина, которого он титулует татарским мурзою, <...> он говорит, что в России не появлялось еще ничего, до такой степени запечатленного славянским духом, как произведения Державина. Говоря о Жуковском, автор статьи находит, что он затмевает всех современников своих... Чем бы вы думали? ...Увлекающим жаром своих од. Далее, сравнив Батюшкова с Анакреоном и Пиндаром, автор жалеет, неизвестно почему, что бульшая часть произведений Батюшкова написана в прозе. Пушкин, которого он называет скептиком и русским Байроном, олицетворил собою, по его убеждению, беспокойные и неясные стремления к оригинальности, еще невозможной, будто бы, для нас в литературе. <...> По его словам, Лермонтов замечателен своими романами из военной жизни; какой-то Пospelov (Pospelov) написал множество романов из народной истории; небывалый у нас Машков (Machkof) издал «Тайны жизни» («Mysteres

de la vie»), а между комическими романами у нас популярнее всех прочих бивуачные рассказы под заглавием «Жизнь без забот и печали» («La vie sans chagrin ni souci»), написанные никогда не слыханным на Руси Штшири (Chtchiri)» [218, с. 293–294].

В том же году «Современник» обратил внимание на английскую публикацию в ж. «Athenaeum». Она носила название «Очерки жизни русских на Кавказе. Сочинение русского, долго жившего посреди различных горных племен». При ближайшем рассмотрении «Очерки...» оказывались не чем иным, как исковерканным переводом «Героя нашего времени». Между тем, в английском предисловии к ним сообщалось, что «эти “Очерки Кавказа” составляют несколько глав из жизни Федора Романовича Задонского, который представляет собой довольно верный образчик давно покинутого байронизма». Автору «Современника» ничего не оставалось, как только указать на плагиат и сообщить читателю, что английский журнал хвалит «даже это изуродованное сочинение Лермонтова» [489, с. 146].

Но подобные эпизоды все же воспринимались скорее как отдельные промахи европейской критики и публицистики, нежели безнадежное и всеобщее незнание и непонимание иностранцами русской литературы. Русская литература настойчиво стремилась выйти на мировую арену, и всякий успех на этом пути фиксировался как победная веха. Тот же «Современник» в 1858 г. рассказывал о переводе на французский язык «Мертвых душ». Это сообщение заключалось в одном из «Парижских писем» М. Л. Михайлова и гласило: «“Мертвые души” напечатаны в дешевой коллекции романов, путешествий и проч. и продаются по 50 сантимов. Переводчик, Эжен Моро, <...> исполнил труд свой добросовестно» [312, с. 274]. Михайлов, правда, замечал при этом (и замечание глубокомысленно), что «Мертвые души» вряд ли смогут завоевать популярность у французской публики, поскольку «ловкое предприятие Чичикова, которое сразу так затрагивает любопытство нашего читателя, не представляет большого интереса для людей, не знакомых близко, наглядно с русскими обычаями, правилами и законами (курсив мой. — В. О.)» [312, с. 275]. Однако в следующем же письме из Парижа Михайлов передавал эпизод из парижской литературной жизни, который подтверждал, что Гоголь французской публике все же довольно известен. Речь шла о новой драме Э. Ожье и Э. Фуссье «Бедные львицы», которой пришлось преодолевать большие цензурные препоны. Ожье в

предисловии к драме сравнил ее судьбу с судьбой «Ревизора». «Вот откуда французы берут нынче сравнения?» [312, с. 463], — восклицал в связи с этим Михайлов.

Михайлов, конечно, не мог включить в свои статьи всю информацию о русской литературе во Франции. Многое он передавал с частными письмами. Так, в 1859 г. он переслал Некрасову статью о нем в «Revue des Deux Mondes» «Русский поэт-сатирик». «Благодарю Вас от души, — писал Некрасов в ответ Михайлову, — <...> все-таки любопытно, только зачем он («Revue...». — В. О.) меня на всю Европу объявил таким старцем, будто я в царствование Николая явился в Петербург и начал писать, да тогда только что родился! <...> Шутки в сторону, скажите Делаво, что я удивляюсь, как он при совершенном и очевидном отсутствии помощи чьей-нибудь из русских литераторов — все-таки сумел сказать много верного <...>» [408, т. 1, с. 282].

«Соперничать народными славами». Итак, для нас очевидно, что зарубежный успех русских литераторов воспринимался в России как один из путей утверждения российского национального престижа в Европе. Стремление российских литераторов представить европейской публике произведения русской литературы — это факт «ответной рецепции». Но зададимся вопросом: какое значение этот факт имел для русской литературы? Сразу же можно сказать, что это значение заключалось в том, что русская литература постепенно приобрела мировую известность, адаптировалась к инородной языковой среде. Но только ли в этом?

Всякий творческий процесс требует осмысления его цели и перспектив. Литератор, создавая произведение, стремится «вписать» его в поток литературной жизни и вместе с тем осуществить посредством этого произведения новый шаг в развитии литературы. Точно так же и отдельная национальная литература стремится осознать свое место в кругу других национальных литератур и определить сущность своего индивидуального вклада в копилку мировой литературы. Однако, чтобы определить, в каком направлении движется литературное развитие, чтобы угадать его стратегические цели, необходимы точки отсчета. Необходимы ориентиры, которые позволили бы и литераторам, и читателям оценить, какое же произведение действительно является шагом вперед.

На узких интервалах эти ориентиры обнаруживаются довольно легко. Так, например, для литературы натурализма главным показателем достоинств произведения служит точность отраже-

ния реальности. Но подобный показатель совершенно не применим в масштабе значительной эпохи, в русле которой взаимодействует несколько литературных школ и направлений. Ясно, что, скажем, русская романтическая литература и русская реалистическая литература ставили перед собой разные задачи и цели, но ведь ясно и то, что существовали некие цели, которые в равной мере преследовали и писатели-романтики, и реалисты — те цели, которые ставила перед собой национальная литература в целом.

Для русской литературы XVIII в., думается, подобной стратегией было освоение достижений, к которым уже пришли передовые литературы Европы. Когда эта цель оказалась во многом достигнута, явилась необходимость в поиске новой, глобальной перспективы. Кто-то предлагал в качестве такой абсолютной цели усовершенствование классицистических начал, кто-то — осмысление действительности с позиций романтизма, кто-то — видел главнейшую задачу отечественной литературы в точном отображении национальной жизни, а кто-то — в абстрагировании от реальности, в том числе и национальной. Но все это сейчас видится лишь частными целями, не способными вполне отразить набравшее темп движение русской литературы, которая постоянно расширяла свои интересы, наращивала разнообразие форм и масштаб отображения действительности.

Осмыслить логику движения русской литературы, выяснить ее стратегическую цель весьма последовательно стремился В. Г. Белинский. В первой же крупной работе «Литературные мечтания» (1834) Белинский начал выстраивать модель развития русской литературы и определять значимость того или иного автора в рамках этого развития. Сразу же стало очевидным, что в качестве основного критерия оценки он избрал вклад авторов в создание самобытной, действительно национальной русской литературы — будь то отразившие «народный дух» басни Крылова или переводы и «переделки» Жуковского, познакомившие российского читателя с литературой Англии и Германии.

Но вот важный момент — говоря о Жуковском, Белинский подытоживал: «Жуковский есть поэт <...>, оказавший русской литературе неоцененные услуги, поэт, который никогда не забудется <...>; но вместе с тем и не такой поэт, которого б можно было назвать поэтом собственно русским, имя которого б можно было провозгласить на европейском турнире, где соперничают *народными* славами» [56, т. 1, с. 49]. Вот как! Поэт не годится для

представительской роли! Мы помним, что и у Вяземского с Пушкиным был спор на аналогичную тему, только применительно к Крылову. У Белинского эта мысль пока проскальзывает будто случайно, к слову. Да и выглядит она как-то противоречиво: Жуковский для России хороший поэт, но Европе его показывать не стоит. Так хорош или плох все-таки поэт Жуковский?

Через 7 лет в статье «Русская литература в 1840 году» Белинский снова вернулся к этой проблеме. Он заявил, что до Пушкина русской литературы не было, а «вместо ее была словесность — ряд <...> явлений, вышедших не из родной почвы русского духа, а из подражаний чужим образцам...» [56, т. 1, с. 714] То есть Белинский снова предлагает в качестве оценочного критерия — степень национальной самобытности авторского творчества. Но теперь он находит логический поворот, который позволяет устранить противоречие между оценками национального и мирового значения писателя. И вот как это происходит.

Карамзин, Жуковский и Батюшков, полагает Белинский, развили в своих сочинениях «не содержание русской жизни», а знакомили русских «с содержанием европейской жизни». В их произведениях отсутствовало «сознание» русского народа, не выражалось его «миросозерцание». А следовательно, их творчество, рассуждает Белинский, — это «знакомство России с Европой, а не Европы с Россией». «Только с Пушкина, — продолжает Белинский, — начинается русская литература, ибо в его поэзии бьется пульс русской жизни. Это уже не знакомство России с Европой, но Европы с Россией» [56, т. 1, с. 712]. Таким образом, оценочная система, предложенная Белинским, логически «закольцевалась»: автор, внесший вклад в создание русской национальной литературы, одновременно вносит вклад и в общеевропейскую литературу, поскольку обогащает ее потоком самобытной национальной культуры. Значит, автор, завоевавший непреложный авторитет в отечестве, должен заслужить признание и за рубежом. Но система «закольцевалась» на уровне теоретическом, а на деле оказывалось, что, например, Пушкин, по определению Белинского наиболее самобытный русский поэт, так и оставался в Европе малоизвестен, а стало быть, и не признан.

Белинский, пока не мог объяснить этого несоответствия между теорией и действительностью, но, несомненно, объяснение искал. В 1842 г. в следующем годовом обзоре русской литературы он вернулся к изложению своего видения истории русской литера-

туры. Карамзина он снова отнес к авторам, уже выполнившим свою функцию и потерявшим значение в новых условиях, поскольку произведения его, считает Белинский, «не могут быть переведены ни на какой европейский язык». «Что бы нашла в них Европа, из чего бы поняла она в них, что он великий писатель?» [56, т. 2, с. 143] — обосновывал он свое мнение. А вот о европейском значении Пушкина теперь Белинский говорил подробнее.

«Если Пушкин найдет достойных переводчиков, — предполагает критик, — то не может не обратить на себя изумленного внимания Европы; но все-таки он не может быть там оценен по достоинству: этому всегда помешает объем и глубина содержания его поэзии, далеко не могущие состязаться с объемом и глубиной содержания, каким проникнута поэзия великих представителей европейского искусства... Иностранец, коротко ознакомившийся с Россией и ее языком, не может не признать в Пушкине, как в художнике, мировой творческой силы, которой нечего бояться чьего бы то ни было соперничества, <...> но те произведения Пушкина, в которых он выходил на историческую почву жизни и которых величие и колоссальность необходимо зависит от содержания, покажет ему, что Пушкин, слишком рано родившись для России, слишком рано и умер для нее...». «Сказанное о Пушкине можно применить и к Гоголю» [56, т. 2, с. 172], — заключал Белинский.

Реальность заставляла Белинского вносить коррективы в собственные теоретические построения, и он был готов признать, что русская литература, хотя и приобрела уже индивидуальные национальные черты, но еще не готова выступить в «соперничество *народными* славами» на общеевропейском уровне. Если в отношении Пушкина европейский читательский вакуум можно было списать на трудность перевода стихотворных текстов, то чем же могла объясняться неизвестность за границей Гоголя, как только не слабым уровнем развития российского национального начала? По сути, Белинский не отказался напрочь от той мысли, что достоинства российского писателя по самому большому счету определяются его европейским признанием, но сделал ту скидку, что *пока* русская литература не готова к мировой конкуренции. В том же 1842 г. он заявил об этом весьма категорично в статье о «Мертвых душах». «<...> Гоголь великий русский поэт, не более, — писал Белинский, — “Мертвые души” его — тоже только для России и в России могут иметь бесконечно великое значение. Такова пока судьба всех русских поэтов; такова судьба и Пушкина. Никто не может

быть выше века и страны <...>. Немногое, слишком немногое из произведений Пушкина может быть переведено на иностранные языки, не утратив с формою своего субстанционального достоинства; но из Гоголя едва ли что-нибудь может быть передано!» [56, т. 2, с. 300] Выходило довольно неутешительное признание: своя литература у нас уже есть, но выставить ее перед европейцами в качестве достижения мирового масштаба мы пока не можем.

Между тем Белинский продолжал оценивать российских авторов по мере их вклада в мировую литературу, будто забыв собственное утверждение, что никто из них пока вклада этого сделать не мог и не может, поскольку не может опередить общее развитие своего отечества. «Пиндара, Анакреона и Горация, — писал Белинский в 1843 г., — читает весь просвещенный мир на их родных языках и в бесчисленном множестве переложений: в Державине ничего не найдет ни француз, ни англичанин, ни немец» [56, т. 2, с. 555].

И вдруг... В 1845 г. в Париже вышли переведенные на французский язык повести Гоголя. Более того, в парижской печати они удостоились самых лестных отзывов. «*Journal des Débats*» приравнял Гоголя к лучшим европейским писателям, «*Illustration*» назвал его самым оригинальным из русских авторов, а «*Revue des Deux Mondes*» поместил целую статью знаменитого Сен-Бева о Гоголе [337, с. 555]. Трудно переоценить то значение, которое имело это событие для Белинского. Действительность наконец подтвердила верность его логически выстроенных установок: наиболее национальный, по его мнению, русский литератор одновременно явился во Франции самым ярким представителем русской литературы. В обзоре русской литературы за 1845 г., отрекаясь от недавних своих суждений о Гоголе, Белинский заявил: «Его уже давно знает вся читающая Россия; теперь его знает и Европа» [56, т. 3, с. 15].

И теперь в логической цепочке последнее звено встало на свое место, Белинский мог со спокойной душой развивать свою теорию соотношения между национальным и мировым значением художника. В «Петербургском сборнике» (1846) он рассматривал с точки зрения европейской востребованности уже не отдельных авторов, а целые, выделенные им, периоды русской литературы. «Ломоносов и Карамзин имеют для нас великое значение, — рассуждал он, — но попробуйте перевести их сочинения на любой европейский язык, — и вы увидите, станут ли европейцы читать их <...>. Они скажут: “мы давно уже прочли все это у себя дома; дайте нам

русских писателей”. <...> Итак, целый период русской литературы решительно не существует для Европы» [56, т. 3, с. 41]. Можно представить себе, что для Белинского соблазн был велик, чтобы взять да и заявить, что теперь, мол, настал новый период — период Пушкина, Лермонтова и Гоголя — и он-то уж призван стать эпохой вхождения русской литературы в Европу. На основании перевода гоголевских повестей заявить это было логично. Но европейская популярность Пушкина и Лермонтова росла слишком уж медленно. И, видимо, потому Белинский ограничился весьма умеренным заявлением, заметив, что новый период русской литературы может заинтересовать европейцев, но «только в известной степени». «<...> Хотя в творениях Пушкина и Лермонтова, — пояснял критик, — видна душа русская, ясный, положительный русский ум, сила и гибкость чувства, — однако ж эти качества виднее нам, русским, нежели иностранцам, потому что русская национальность еще не довольно выработалась и развилась, чтобы русский поэт мог налагать на свои произведения ее резкую печать, выражая в них общечеловеческие идеи» [56, т. 3, с. 41].

В главном, однако, Белинский оставался непреклонен: европейский успех писателя является высшим показателем художественных достоинств. В статье о «Петербургском сборнике» он снова писал о Гоголе: «И вот, когда французский перевод нескольких его повестей доставил ему громкую известность в Европе, — теперь и самые враги его таланта <...> уже не решаются говорить о нем прежним языком...» [56, т. 3, с. 65] А дабы «враги гоголевского таланта» не воспринимали французский успех Гоголя как случайность, Белинский сообщал, что «Тарас Бульба» уже переведен и на немецкий язык, в связи с чем «Прусская всеобщая газета» отметила, что «талант Гоголя приобрел в Европе *классическую* известность» [56, т. 3, с. 87].

Когда в 1847 г. читатель открыл первый номер обновленного «Современника», то обнаружил в нем обзор русской литературы за предыдущий год и новые соображения Белинского — все на ту же тему: о европейском престиже русских авторов. «Мы дождались, наконец, до того, — начинал критик с повторения уже давно высказанного, — что перевод нескольких повестей Гоголя на французский язык обратил на русскую литературу удивленное внимание всей Европы, — говорим *удивленное*, потому что переводы русских романов и повестей на иностранные языки делались и прежде, но, вместо внимания, порождали в иностранцах совсем

не лестное для нас невнимание к нашей литературе, по той причине, что эти русские повести и романы, переведенные на их языки, они считали, напротив, переводами с их языков: так чужды они были всего русского, всякой самобытности, оригинальности» [56, т. 3, с. 648–649]. Но любопытнее всего, какой вывод из этих наблюдений делал Белинский на сей раз.

Мы уже вели речь о том, что Белинский настойчиво стремился определить роль, которая суждена в европейской истории русскому народу, и, в конце концов, приходил к оптимистическому заключению: «Да, в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль <...>» [56, т. 3, с. 655]. Иными словами, Белинский утверждал, что российский национальный престиж вырастет в Европе настолько, что европейские народы будут воспринимать народ русский с уважением и вниманием, станут прислушиваться к нему. Но чем мог Белинский подтвердить такое заявление? Конечно, мог сослаться, как это часто и делалось в публицистике, на громкие победы российского оружия, на географические преимущества России и проч. Однако Белинский, доказывая будущий взлет российского международного престижа, обращался к предмету, ему более близкому — к истории русской литературы. «Она существует всего каких-нибудь *сто семь лет*, — замечал Белинский, — а <...> в ней уже есть несколько произведений, которые потому только и интересны для иностранцев, что кажутся им не похожими на произведения их литератур, следовательно, оригинальными, самобытными, то есть национально русскими» [56, т. 3, с. 655]. Итак, логическая цепочка, предложенная Белинским, замкнулась по глобальному кругу: если русский автор национально самобытен, то он заслужит мировое признание; если заслужит мировое признание — он станет представителем своего народа в мировой литературе; если он добился этого представительства — он вполне национально самобытен.

Конечно, выстраивая эту схему, Белинский зачастую имел возможность опираться лишь на единичные факты, которым он, скорее всего, интуитивно придавал обобщающее значение. Ведь, например, повести Гоголя, хотя и удостоились похвал французской критики, но не имели в Европе такого успеха, как скажем, произведения Бальзака, Дюма и т. д. Почему же Белинский придал их переводу несравнимо большее значение, нежели переводам из других российских авторов? Почему сделал вывод, что именно после-

дователи Гоголя завоюют признание европейцев? Ведь он видел, что произведения не менее национальных писателей — Лермонтова и Пушкина — не слишком увлекают европейскую публику.

Не мог он не знать, что и его собственные статьи в Европе переводятся. Еще в 1843 г. на основе его работ в Лейпциге на немецком языке в журнале «Летопись славянской литературы, искусства и науки» был составлен очерк о русской литературе [18, с. 437–438]. В 1844 г. статья Белинского о «Парижских тайнах» Э. Сю была помещена в немецкой «Газете для эlegantного мира» [179, с. 474]. В 1847 г. французский журнал «La revue Indépendante» не только ссылался на работы Белинского, но и провозгласил его видным представителем новой школы, которая «стала во главе литературы и прогресса в России» [272, с. 498]. Почему же после этого Белинский не стал воспринимать самого себя в качестве полномочного представителя русской литературы в европейском мире? На каком основании он убежденно предрекал эту роль именно художнику Гоголю и его последователям, хотя поначалу сам сомневался в возможности перевода сочинений Гоголя на иностранные языки?

Загадки интуиции неизъяснимы, но, думается, если бы Белинский прожил тремя-четырьмя десятками лет более и пронаблюдал стремительно возросшую за это время европейскую популярность Тургенева, Толстого и Достоевского, то он сумел бы воспользоваться очевидными подтверждениями своей мысли, которую вынашивал годами.

Впрочем, был ли Белинский в этой мысли вполне оригинален? На уровне обыденного читательского восприятия, а зачастую и на уровне критических оценок, как мы уже видели, европейское признание автора и ранее воспринималось как высшее достижение. Признание автора за рубежом воспринималось и как подтверждение его мастерства, и как особая заслуга перед собственной литературой. Так, И. И. Дмитриев в автобиографии, доказывая исключительность достижений Карамзина-историка и защищая его от критических нападок соотечественников, указывал, что тома «Истории государства Российского» были «с поспешностью переведены на языки французский, итальянский и немецкий, заслужили от европейских журналов лестные отзывы» [168, с. 322]. Европейская популярность автора, как правило, автоматически закрепляла за ним право на роль представителя русской литературы за рубежом. Но связь между национальной зна-

чимостью литератора и его мировым значением, между его самобытностью и его правом на представительство в мировом литературном процессе оставалась неосознанной, признаваемой лишь по частному факту и спорной. В осмыслении Белинского эта связь приобретала вид логически выведенной и подтвержденной опытом закономерности.

Русские литераторы, конечно, и без того стремились завоевать европейское признание, и без того сознавали, что личный успех за рубежом означает одновременно и ответственность за поддержание национального авторитета, но теперь с абсолютной ясностью было доказано, что представительская роль писателя подчиняется не столько соображениям личного честолюбия, сколько требованиям национального самосознания. Стало очевидным, что стратегическая цель отечественной литературы — выход на мировую арену, где русская литература могла бы «соперничать *народными* славами». А из этого следовало, что высшей заслугой автора перед отечественной литературой, да и перед отечеством вообще является его мировое признание.